

ВЛАДИМИР

МАКСИМОВ



РАСТЛЕНИЕ

ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ

Владимир Емельянович Максимов

Растление великой империи

Серия «Кто мы?»»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65293148

*В. Е. Максимов. Растление великой империи: ООО «Издательство Родина»; Москва; 2021
ISBN 978-5-00180-004-0*

Аннотация

Владимир Емельянович Максимов (1930–1995) – один из крупнейших русских писателей и публицистов конца XX века. В 1973 году он был исключен из Союза писателей за романы «Карантин» и «Семь дней творения», в 1974-м эмигрировал во Францию. На чужбине Максимов основал журнал «Континент», вокруг которого собрались наиболее активные силы эмиграции «третьей волны» (в т.ч. А. Солженицын и А. Галич; среди членов редколлегии – В. Некрасов, И. Бродский, Э. Неизвестный, А. Сахаров).

После распада СССР В.Е. Максимов, неожиданно для многих, встал на «имперские» позиции.

В последние годы жизни он был постоянным автором газеты «Правда», беспощадным обличителем «демократических» реформ в нашей стране, защитником России и всего русского во враждебном кольце западной цивилизации.

В своей последней книге В. Максимов показывает, как медленно, шаг за шагом, шло разрушение великой советской империи, какую роль сыграли при этом влиятельные силы Запада, – и размышляет с позиций политики, религии, идеологии о том, почему наша страна оказалась беззащитной под их натиском. Кроме того, Владимир Максимов развенчивает химеры «демократических» завоеваний в России и рисует страшную, но реалистичную картину постперестроечного общественного устройства нашей страны.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Содержание

Изгнанник-патриот	6
Оборвавшийся звук	12
I. После немоты	40
Размышления о гармонической демократии	40
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Владимир Максимов

Раствление

великой империи

© Максимова Т. В., 2021

© ООО «Издательство Родина», 2021

* * *

Изгнанник-патриот

Мог ли я подумать где-нибудь в конце семидесятых годов прошлого столетия, жадно проглатывая страницы томика журнала «Континент», полученного от приятеля на одну ночь, что через каких-нибудь двадцать лет получу в лондонском русском книжном магазине полный его комплект, а еще через год встречусь в Париже с его издателем.

Тогда, в 1990 году, после многолетнего статуса невыездного, получу я служебный загранпаспорт, а вместе с ним возможность воочию познакомиться с шедеврами мирового искусства, о которых так много слышал от университетских профессоров и которые постоянно любовно оглядывал в альбомах и монографиях. Посещение музеев, дворцов, соборов и монастырей занимало основную часть моих заграничных командировок, в остальное время имел я неоценимое счастье общения с русскими людьми, которые по тем или иным причинам вынуждены были жить вдали от России.

Почти все встречи тех «перестроечных» вояжей удалось мне с помощью замечательного моего друга Валентина Лазуткина, руководившего внешними связями Центрального телевидения, заснять и показать в своей постоянной программе Первого канала «Служенье муз не терпит суеты». Доживающий свой век в Нью-Йорке последний ученик Репина Михаил Вербов; наследник хорватского престола, потом-

ственный дворянин, женатый на внучке Стравинского Михаил Елачич; очаровательная в своей непредсказуемости Зинаида Шаховская; гостеприимная, так много помогавшая программам Советского фонда культуры Лидия Ворсоно; старый мой московский приятель, выдающийся коллекционер Георгий Костаки – все они стали с моей помощью собеседниками миллионов телезрителей и поведали о своих удивительных судьбах и делах, осуществляемых на чужбине и всегда обращенных к далеким берегам родного Отечества. Наиболее полными и содержательными в серии моих зарубежных телевстреч оказались беседы с замечательным русским писателем, отцом преследуемого на его любимой Родине «Континента» – Владимиром Емельяновичем Максимовым. Помню, как будто это происходит сегодня, с каким волнением шел я вместе с моим итальянским университетским другом Пьеро Кази на улицу Лористон, 11 бис. Я тогда уже знал цену немногим подлинным русским изгнанникам и отличал их от андроповских «туристов», оказавшихся на Западе с заранее подобранными местами службы, где они занимались антисоветской деятельностью. Настоящие враги тогдашнего режима, такие, как Владимир Осипов, Леонид Бородин, Александр Гинзбург, Анатолий Марченко, генерал Григоренко и многие другие тянули огромные сроки в ГУЛАГе, умирали или оказывались у чужих берегов смертельно больными.

Владимир Максимов предоставлял страницы «Континен-

та» самым различным авторам, позиции которых могли взаимно исключать одна другую. Понимал я, как нелегко было ему «разводить» под одной обложкой ненавидящих своих коллег писателей, журналистов, борцов за права человека, поэтов, режиссеров, актеров и музыкантов. Но он достойно справлялся с тяжелой, рутинной работой и находил силы, чтобы создавать свои литературные творения, сразу же становившиеся популярными и востребованными.

Я знал о сложном характере Владимира Емельяновича и его неумении подстраиваться под общепринятые нормы и соблюдать галантность в разговоре. Знал и от людей, хорошо с ним знакомых, и из автобиографических страниц максимовских книг. Но после первых же минут нашего общения я понял, что за внешней суровостью и скупостью эмоций скрывается настоящий русский человек, много страдавший, много переживший, но сохранивший в чистоте душу ребенка и остро реагирующий на любое проявление нечистоплотности и непорядочности. Уже первая наша встреча, обернувшаяся потом серьезными телебеседами, стала для меня еще одним подарком, на которые так щедра вся моя жизнь. Я понял, что передо мной единомышленник, а главное – старший друг и наставник. Когда я вместе со Львом Николаевичем Гумилевым смотрел по телевидению первую свою парижскую беседу с Максимовым, я понимал, что в комнате находятся два моих учителя.

«Перестройка» на глазах обернулась чудовищным бес-

пределом, творимым с тяжелой руки Ельцина наглými и бес-совестными либерастами. Помню, как специально собранный верным ленинцем, борющимся показно с коммуняками, Егором Яковлевым «круглый стол» в руководимых им и поддержанных камарильей 10-го подъезда ЦК КПСС «Московских новостях» обратился к доживающему последние деньки ставропольскому герострату Горбачеву с просьбой не пускать в Советский Союз Солженицына, Зиновьева и Максимова. Войновича, Аксенова, Буковского, Лимонова и прочую шушеру, себе подобных, они встречали с распростертыми объятиями. А людей с собственными программами, стремящихся «обустроить Россию», боялись, как огня. В гневной отповеди, помещенной в колонке редактора «Континента», Владимир Емельянович, которого письмо к Горбачеву подленько старалось уличить в пристрастии к алкоголю (к тому времени он давно распрощался с «зеленым змием»), со свойственным ему беспощадным юмором спросил клеветников: «А подписывать сей грязный навет главного советского атрального деятеля Ефремова из вытрезвителя доставили?»

Когда Владимир Максимов наведывался урывками в Москву, либеральные начальники которой предложили ему выкупить конфискованную квартиру, он презрительно обронил: «Я краденое не приобретаю». В каждый приезд приходил он ко мне в Выставочный зал Института реставрации. Здесь, на кухне старинного московского особняка, собирались Валентин Распутин, Василий Белов, Валентин Курба-

тов, Владимир Крупин и вели тревожные беседы о гибнущей на наших глазах России. К этому времени Владимир Емельянович вместе со своим «закадычным» оппонентом Андреем Синявским, убедившись в разрушительных устремлениях чубайсовско-гайдаровской шайки, высказывали свое отношение к совершаемым ими преступлениям на страницах «Дня», «Правды» и «Советской России». Демократия существовала лишь на словах и была проплачена гусинскими, березовскими, смоленскими и другими обладателями украденных у народа денег.

Расстрел Верховного Совета России в октябре 1993-го, когда среди бела дня ельцинские сатрапы уничтожили около двух тысяч невинных людей, оставив в живых своих подельников Руцкого и Хасбулатова, заставил Максимова содрогнуться. Особенно его возмутили письмо 42-х так называемых «элитчиков», умоляющих Ельцина стрелять в живых людей, и истошный вопль сына комиссара в пыльном шлеме, пролившего в свое время немало русской кровушки, поэта и певца Окуджавы, радующегося при виде московской «Варфоломеевской ночи». Потрясло писателя и устное обращение Солженицына к Ельцину, поддержавшего зверскую расправу на Красной Пресне. Его письмо к бывшему своему кумиру написано кровью и стоило замечательному человеку и талантливому писателю жизни. Максимов не умер, он погиб, как настоящий герой, любящий свою Родину «пламенно и нежно».

Я постоянно обращаюсь к Владимиру Максимову, когда силы и уверенность оставляют меня. У него я ищу поддержки и опоры. На него я ссылаюсь, когда борюсь с «иных времен татарами и монголами», хозяйничающими на ниве русской культуры.

P.S. Хочется выразить благодарность за помощь в издании этой книги Вадиму Мильштейну и Михаилу Де Буару.

Савва Ямицков

Оборвавшийся звук

В музыке есть разные определения темпа и силы звучания мелодии. Есть темп и сила умеренные, плавные, тихие, есть взрывчатые, громкие, нарастающе-быстрые. Одним словом, есть *piano* и *forte*, что в музыкальном словаре означает «громко, сильно, в полную силу звука». Именно с *forte* я бы и сравнил жизнь Владимира Максимова. Он жил в полную силу звука. Когда я говорю «жил», мне хочется сказать: «мы жили», ибо родились мы с ним в один год, в один месяц и почти в один день: он 27, а я 28 ноября 1930 года.

Все на небесной карте России в те дни указывало на кровь. Осенью 1930 года начался процесс над Промпартией. Деревню уже выкосили – теперь пришла пора разделаться с инженерной интеллигенцией. 16 октября в «Известиях» была напечатана статья Горького «Об умниках». В ней задавался кровожадный вопрос: «Надо ли вспоминать о людях, которые исчезают из жизни медленнее, чем следовало им исчезать?» 14 ноября – после публикации обвинительного заключения по делу о вредителях-инженерах – всю первую полосу перекрыла шапка: «Требуем расстрела пособникам интервенции!» На экстренном собрании работников искусств режиссер А. Довженко заявил: «Потребуем запретить им дышать!» 15 ноября появилась новая статья Горького, подводившая итог всенародным воплям о возмездии, – «Если враг не

сдается – его истребляют». Именно так называлась она при первой публикации в газете. 25 ноября в тех же «Известиях» разродился стихами Сергей Городецкий:

Из нор вредительства,
из зарубежных ям,
из дыр поповства,
из кулацких гнезд
капканы хищные
спешат расставить нам,
но рвет капканы
наш дозорный пост.

«Дозорный пост» – это, естественно, ОГПУ, которое восторженные работники искусств (среди них Шкловский, Пудовкин, Таиров) за его заслуги перед Отечеством потребовали немедленно наградить орденом Ленина. Передовая статья в «Известиях» в день моего рождения заканчивалась словами: «Страшен сон, да милостиво ОГПУ».

Мы родились в эпоху бесправия и расправ и, может быть, потому ничего так не желали в своей жизни, как остановить насилие. Нам казалось, что литература тоже может помочь этому.

* * *

Как и многие из нас, Максимов начинал в газетах. Он пе-

чатал в них статьи и очерки, и даже стихи. Одно из таких стихотворений, где в положительном смысле упоминалось имя Сталина, было извлечено из подшивки перестроечным «Огоньком» и представлено читателю вместе с портретом молодого Максимова. Это был превентивный удар по тем, кто, по возвращении на родину, захотел бы предъявить права на свою чистую биографию. Оставшиеся в СССР и подличавшие в свое время интеллигенты боялись таких людей, как Максимов, и им нужно было, чтобы обелить себя, если не замарать, то хотя бы отчасти запачкать их. Так и поступил редактор «Огонька» В. Коротич, писавший антиамериканские романы, а потом сделавшийся заклятым западником. Он-то перешел в новую веру из корысти, а Максимов, которому во время написания злосчастного стихотворения едва ли было 20 лет, никакой выгоды из почтения к Сталину не извлек. Это столкновение главного редактора «Континента» с отцами новой русской демократии было неизбежно: ни он для них, ни они для него не были своими. Ибо у них в карманах пиджаков лежали партийные билеты, а у него не имелось даже паспорта – советский отобрали, а французского, прожив 16 лет во Франции, он так и не получил.

У Максимова до самой смерти было только беженское удостоверение, французское гражданство он брать не хотел, так как считал себя не только русским писателем, но и русским гражданином. Если переставить слова в известном стихотворении Некрасова, то получится современный афоризм:

гражданином можешь ты не быть, а поэтом быть обязан. Так или примерно так думают нынешние молодые гении литературы, которым претит политика, связь поэтического слова с жизнью и т. д. Они все в этом смысле «набоковцы» и верят, что наконец-то оторвались от заветов Пушкина и Толстого. Но Набоков, написавший «Истребление тиранов», «Подвиг», «Облако, озеро, башня», никогда не был «набоковцем», и пошлость (явление сколь метафизическое, столь и реальное) недаром стала, если вспомнить выражение Гоголя, той мясистой белугой, которую Набоков преследовал и казнил всю свою жизнь.

Максимов не был королем только литературного королевства, как Набоков, и, наверное, менее всего был им, – но одну заповедь классики он усвоил твердо: не писать мимо себя. Кто хочет узнать его биографию, по крайней мере ее начало, может прочесть «Прощание из ниоткуда» – там все о Максимове первых витков его судьбы.

Известно, что его отец (железнодорожный рабочий) был арестован как троцкист. Сам Максимов сидел в тюрьме, в психушке, в колонии. Я видел его фотографию, где он снят с матерью и старшей сестрой. На нем короткие штанишки, носочки и сандалии – последний сон детства, последние мгновения покоя. Потом уже никаких носочков и отглаженных штанишек не было – грянуло время скитаний, побегов, время улицы, подножек товарных вагонов и шпал, по которым все дальше и дальше относило от детства. Максимов бежал

из колонии, я – из детского дома. Оба мы были сыновьями врагов народа, оба «затравленные зверушки», как напишет он потом о себе. Человек, прошедший такую школу, навсегда отделен от мягкого, детского. Если оно и живет в нем, то очень глубоко, очень потаенно и только в условиях полной безопасности выходит наружу. Такой человек уже никогда не делается кроткой овечкой, он, скорей, готовый к упреждающему прыжку на противника волк. Он недоверчив, подозрителен, он боится разоружиться. К нему с силой лучше не подходить – получишь в ответ ее же.

Наверное, сходство наших судеб и не позволило нам чиниться при знакомстве. А познакомились мы в марте 1963 года, в том самом марте, когда Никита Хрущев, как с цепи сорвавшись, набросился на интеллигенцию. Было устроено очередное идеологическое побоище, и лед, который начинал уже отмерзать, вновь превратился в лед. Я печатался тогда в «Знамени» и часто бывал на Тверском, 25, где в двухэтажном особняке находилась редакция журнала. Забегал туда и Максимов, худенький, плохо одетый, в рваном пальтишке и старой заячьей шапке. Два этажа «Знамени» были двумя этажами советского мира. Внизу сидели простые смертные – старшие и младшие редакторы, а наверху – начальство. И нравы на обоих этажах были разные. Если на первом болтали и не очень боялись стен, у которых есть уши, то на втором строго хранили партийную тайну. Там и разговаривали, по-моему, полупшепотом и, по большей части, о посторонних

предметах.

В тот день, когда я впервые увидел Максимова, все в редакции находилось под впечатлением хрущевской речи в Кремле. За большим «знаменским» окном отвесно падал крупный снег, снег таял на Володиной вытертой шапке, а в комнате, где располагались отделы критики и поэзии (С. Дмитриев, Л. Аннинский, Г. Корнилова), было тепло и уютно. На втором этаже (В. Кожевников, Б. Сучков, Л. Скорино) стояла мертвая тишина. Хозяева журнала гадали, кого выбросить из верстки, кого окончательно «зарезать», чтобы еще лучше угодить агитпропу ЦК, а здесь, внизу, царил смех – Максимов в лицах представлял Сталина и его присных. Он в то время коллекционировал анекдоты про Сталина и разыгрывал их с актерским азартом. Светлые его глаза тоже играли, из них излетали веселые молнии и, зорко фиксируя реакцию слушателей, он ничем не выдавал своих позывов к смеху. Его молодое лицо было подвижным, живым (это позже оно окаменело), меняющим свет и тени, как земля в ветреный и облачный день.

Вскоре я прочитал новую повесть Максимова «Жив человек» и написал о ней заметку для журнала «Юность». Благодарность Володи за эту короткую похвалу растянулась на много лет. Максимов вообще был человек благодарный и никогда не забывал о толике добра, которую ему сделал кто-то. Никогда я не слышал от него разговоров о Боге, о церкви, обязательных в среде новообращенных. Один из таких – ны-

нешний преемник Максимова на посту главного редактора «Континента» – обычно начинает свои публичные выступления словами: «Я, как человек верующий, считаю...» Религиозность Максимова была выстраданной, а оттого скрытой. Да, он ходил в церковь, в его доме висели иконы, он крестил своих дочерей, но и мысли не мог допустить, что это ставит его над другими людьми. Гордыни в его вере не было.

Мое литературное почитание его имени началось с романа «Семь дней творения» (1971), а до того – с главы из этого романа, которая ходила по Москве под названием «Двор посреди неба». Ее читали как запретную литературу, как политический документ. Меж тем это была прекрасная проза уже зрелого и, если хотите, обретшего свой идеал Максимова. Симптоматично, что эпиграфом к своей первой повести «Мы обживаем землю» (1961) он взял слова Горького, к повести «Жив человек» (1962) – цитату из Толстого, а к следующей – «Стань за черту» (1962) – из Евангелия от Матфея. Эта эволюция цитат – эволюция самого Максимова. Начав с горьковских тем и горьковской интонации (и даже языка), он стремительно стал уходить от него в сторону классики. Он первый среди диссидентов, если не считать «Матренина двора» Солженицына, написал не антисоветский а истинно христианский роман, поняв, что отрицание не может исчерпать целей искусства. В этом смысле он обошел многих своих современников, для которых счеты с властью, насмешка над властью стали альфой и омегой их усилий. Его двор –

то есть площадка, или пространство, на котором разворачиваются перипетии романа, – был двор посреди неба: и этим все сказано.

Как и другие писатели, уехавшие на Запад, Максимов лучшие свои вещи написал дома. Парадокс судьбы, до сих пор не разгаданный временем. И Максимов, и Аксенов, и Войнович, и Владимов, и Некрасов, и Солженицын – все должны быть зачислены в этот список. В чем тут дело? Земля питала или воля к сопротивлению, как искра, зажигала талант?

Правда, в отличие от других у Максимова на Западе родилось еще одно прекрасное дитя – «Континент». Когда в декабре 1996 года я побывал на последней его квартире в Париже на улице Шальгрэн, то увидел продолговатый обеденный стол, за которым собиралась редколлегия «Континента». За ним сживали и Сахаров, и Эрнст Неизвестный, и Бродский. Максимов переехал на эту квартиру за десять дней до смерти. Его, собственно, перевезли сюда. А до этого он много лет обитал на улице Лористон, где на втором этаже было его жилье, а на четвертом – редакция журнала. Обе эти улицы находятся в районе Триумфальной арки и площади Этуаль, в которую со стороны центра упираются Елисейские Поля, а по другую начинается авеню Великой Армии. В этом городе русской эмиграции и торжества Наполеона (его имя и имена его маршалов раздарены улицам, мостам, площадям, станциям метро), который был повержен Россией, Максимов и основал свой журнал. Полный комплект «Континента» сто-

ит сейчас у меня на полках. Это – подарок Володи. Вскоре после своего первого приезда в Россию он стал рассылать эти томики всем, кто мог бы их сохранить как память о нем. Максимов создал «Континент», но и «Континент» пересоздал Максимова. Из частного лица, литератора, может быть, не бросающегося в глаза в каком-нибудь московском ЦДЛ, он превратился в фигуру, которую знал весь мир. Он изменился и внешне. С фотографий, какие иногда просачивались через границу, смотрел новый Максимов – в тройке и галстуке, хорошо постриженный, посолидневший и даже обретший маску «деятеля» – всегда серьезного и знающего себе цену.

Он и до этого много читал, а на Западе стал читать еще больше. Вся запрещенная в СССР литература сделалась доступной ему: книги по философии, истории, политике. Опыт и знания, приобретенные в эмиграции, дали ему свободу судить о событиях крупно, а иногда и провидчески. Он достиг уровня, с какого мог смотреть на мир в целом, не путаясь в мелочах и не завися от подробностей. Это важно отметить, потому что эмиграция третьей волны, к которой он принадлежал, по всем статьям уступала эмиграции первой и прежде всего в образованности, знании языков и внешней воспитанности. Первая эмиграция вывезла на Запад великую культуру, третья – свой великий гнев.

В «Прощании из ниоткуда» Максимов пишет, что на ненависти ничего не построишь, из ненависти ничего не вы-

растишь. Поливать древо жизни ненавистью, значит, поливать его ядом. Оно засохнет и никогда больше не даст плодов. Гулкий рефрен почти каждой главы этой исповедальной книги всегда один: «прощай и прости». «Прости меня, Господи», «да святится имя твое, женщина», «ты не забывай о нем, мой мальчик, не забывай и, если он жив, пошли ему свое благодарное «прости», «Господи, прости нас, маленьких и нечестивых, за нашу собственную обездоленность», «суди меня, моя земля». К кому обращены эти слова? К отцу, которого он предал, сказав, что у него нет отца. К женщине, которую он бросил. К батумскому вору Бандо. К врачу Абраму Рувимовичу, спасшему его в колонии и давшему денег на дорогу. К матери, к друзьям, к возлюбленным. «Кровавыми слезами» готов он оплатить каждый свой проступок, каждый глоток пьяного «вина греха».

На титульном листе первого тома собрания своих сочинений, изданного еще на Западе, Максимов написал мне: «Игорю Золотусскому от автора этот «плод любви несчастной» с давней душевной нежностью». Что спасло его в жизни? Думаю, эта любовь, эта нежность. «Любовь несчастная». Почему? И потому, что грамотешки не было (не окончил и семи классов), и оттого, что били его и в колониях, и в тюрьмах, что разорили семью, дом, двор, к которому пристыло его детское сердце, что измывались и позже, забирая в наручники не только руки, но и душу. Надо было не дать сломить себя ненависти («пепел Клааса стучит в мое сердце»),

желанию мстить, расквитаться. Надо было подняться из-под обломков собственной жизни и из мальчика стать мужем, из бессемейного одиночки отцом семейства, из бывшего зека и шпаны – одной из самых заметных фигур интеллигенции конца века.

Все это он сделал сам и только сам.

Смотрю на второй номер «Континента» за 1975 год. Владимир Марамзин, Александр Галич, Роберт Конквест, Александр Солженицын, Абрам Терц, Грэм Грин, кардинал Миндсенти, Мария Розанова – вот имена авторов этого номера.

Выделяю из них два имени – Абрам Терц и Мария Розанова. Не вдаваясь в историю отношений Максимова с этими двумя замечательными людьми, скажу лишь о финале их дружбы-вражды. Сначала была дружба, потом вражда. Она длилась несколько лет, и незадолго до смерти Максимова завершилась примирением.

Господи, сколько эти счеты, подозрения, слабость наша и склонность верить слухам уносят наших сил! Сколько бы мы выиграли, если б не ссорились, не были бы падки на дурное мнение о других! Человек бывает подл и низок, и смирять в себе эту злую стихию есть высшее освобождение и высшее облегчение. А ведь когда я приезжал в Париж, то тайком от Максимова ездил к Синявским, а тайком от Синявских – к Максимова. Таня Максимова недавно попеняла мне за это. «И напрасно ты это делал, – сказала она. – Это ничего не

изменило бы в ваших с Володей отношениях».

Что правда, то правда. Писатели обычно любят только тех критиков, которые их хвалят. Как-то один хороший прозаик сказал мне: ты не мой критик. Я спросил, почему. Он ответил: потому что ты обо мне не пишешь. Они обижаются на то, что критик о них не пишет. Ну а если, не дай Бог, покритикует, то нет более смертельного врага, чем обиженный талант. Максимову как редактору журнала приходилось не раз отказывать в печатании, и он лучше других понимал, что рвать из-за этого отношения, обижаться и дуться глупо. Помню, в 1993 году, когда я работал в «ЛГ», он принес мне главу из нового романа. Глава была слабая, и мы ее не опубликовали. Когда вскоре после этого мы встретились с ним в Париже, он покорно принес мне другую главу. И добавил: «Я и сам не знаю, что написал. Не понравится – скажи прямо». Эту главу постигла судьба ее предшественницы, но ни слова упрека я от Максимова не услышал.

Сравнивая эту историю с другими подобными историями, сталкивавшими меня с великими мира сего, не нахожу ей аналогов. Вчерашние добрые знакомые или даже друзья в случае отказа печатать или хвалить их сочинения превращались в разъяренных тигров. Следовали брань, оскорбления, писались письма «наверх», требования снять меня с работы, очернение в печати. Не стану называть имен, но это вполне чтимые кое-кем и по сей день люди. Для Володи же я был, наверное, «его критиком», хотя после той маленькой заме-

точки в «Юности» никогда больше о нем не писал.

Но вернемся к «Континенту». В 1990 году Максимов решил распрощаться с журналом. Он сказал мне об этом, когда мы, ожидая начала его вечера в Доме литераторов, гуляли по Поварской. Стоял апрель, листья готовы были вот-вот брызнуть из набухших почек, и все в природе и в нас было настроено на какую-то перемену, на ломку судьбы. «Та жизнь, – сказал Максимов, – как оторвавшаяся льдина, ушла и тает на глазах. Не знаю, что именно, но надо начинать что-то новое». «Новым» стал его бросок в политику, то есть в клубящийся хаос российской жизни, повстречавшись с которым многие диссиденты спешили вернуться обратно, чтобы отдышаться на благополучном Западе. Говорили, что Максимов потому оставил «Континент», что после смерти Шпрингера, дававшего деньги на журнал, его некому было финансировать. Действительно, денежные дела «Континента» ухудшились, но нашлись люди, которые посылали пожертвования, и на них Максимов мог тянуть журнал еще год-два. Но он сверхслухом услышал, что пора сменить тему.

Что теперь открывалось перед ним? Страна неизвестности, точней, известная страна, связи с которой он не мог оборвать, даже употребив на это всю свою волю. Он был однолюб. И в то время, когда жил в Париже, и когда с нарастающей частотой стал наезжать в Россию, сердце и мысли его были только с ней. «Истинное величие почвенно. Подлинный гений национален», – сказал Иван Ильин. Это относится

и к талантам. Максимов никогда не был угрюмым почвенником, который на все иностранное смотрит, как на заразу. Он долго жил на Западе и научился ценить его культуру и способность к выживанию. Но он чувствовал и то, как опадают силы Запада, как, достигши удовлетворения, грубо говоря, животных нужд, тот уперся в это удовлетворение, как в потолок. Максимуму казалось, что Запад в этом смысле безнадежен, а у России еще есть надежда.

Но уже в 1992 году в диалоге, который состоялся между нами и был опубликован в «Литературной газете», он скорректировал свой прогноз: «Мне здесь часто говорят, что, мол, не может такая страна пропасть, исчезнуть с лица земли. К сожалению, может. Россия... особое тело, оно складывалось синтетически. Точно таким же образом оно может и распасться. Часть страны отойдет на Восток и растворится в нем, а другая – на Запад и делается его придатком». Ныне эти притязания в отношении России сделались более чем очевидными. Чего хотят Восток и Запад? Только одного – чтобы не было сильной России. Ислам тянет одеяло на себя, Европа и Америка на себя. В результате тело России рвется и по краям, и в самой ее сердцевине. Максимов быстро увидел, что если этот распад и произойдет, то по нашей собственной вине. И прежде всего по вине успевшей, едва получив свободу, рассориться интеллигенции. Его бросок в политику был броском в море страстей, открывшихся распрей, давней, но запретной ранее, идейной и национальной поно-

жовщины. И поэтому первым его движением стала попытка помирить поссорившихся, соединить собственными зубами, как это делали на фронте связисты, оборванный провод.

Я помню, как нервен, почти взвинчен он был после первых встреч и застолий. Сначала, казалось, была одна радость, одни объятия. Телефон в квартире, где остановился Володя, беспрестанно звонил. Приходили и уходили люди, на столе стояли букеты принесенных ими цветов. Его жена Таня дежурила у телефона с блокнотом и записывала, кто звонит. Максимова снимали, Максимова интервьюировали. На банкете в ресторане «Прага», сразу по его приезде, были одни «свои». Потом эти «свои» стали рассеиваться, потому что Володя вопреки «партийному» этикету стал встречаться с Распутиным, Беловым, посетил даже Станислава Куняева. На него уже начинали коситься, спрашивая: зачем ты это делаешь? Ведь те красно-коричневые. Этот раздор, этот тон превосходства и жажда чуть ли не кровной мести доводили его до отчаяния. Ибо это было уже не вкусовое размежевание (без которого, увы, нет литературной жизни), но почти классовая вражда, очень быстро, накаляясь, перераставшая в ненависть.

В отличие от многих он не страдал самым опасным недугом интеллигенции – болезнью стайности. Законы стаи волчьей: если отделился, поднял голову, пошел против «своих» – загрызут насмерть. Даже самые умные, увы, подчинены этим инстинктам. Помню, как Максимова осуждали, когда он в

1967 году стал членом редколлегии «Октября». Главным редактором этого журнала был В. Кочетов, сам «Октябрь» противостоял «Новому миру» А. Твардовского, и весы народной любви склонялись в сторону «Нового мира». Про Максимова говорили, что он «продался», «вступил в сговор», что за его поступком стоят шкурные интересы. Но что же «продал» и что «купил» Максимов? Он получил право печатать в «Октябре» то, что раньше там не печаталось и что, кстати, не могло появиться – по тем же «партийным» причинам – в «Новом мире». «Новый мир» был хороший журнал, но печатал исключительно тех, кто не перечил ему. По-моему, Максимов так ничего и не опубликовал у Твардовского, да и не помню, сделал ли он это у Кочетова.

Как-то он сказал мне: «Все они (он имел в виду и Твардовского, и Кочетова) – коммунисты и все сидят на нашей бумаге. Надо вырвать у них из-под задницы эту бумагу». Эта его внутренняя свобода заставляла ежиться тех, кто любил и рыбку съесть, и на елку влезть. Максимов был слишком значителен, чтоб его, как попугая, можно было посадить в клетку и заставлять повторять чужие слова. Да и характер его – с детства подавляемый, а потому привыкший к отпору и неповиновению – не позволял. Когда в конце 60-х годов вышли в свет очерки Л. Гинзбурга «Потусторонние встречи», где автор обличал возрождение фашизма в Германии, Максимов негодовал: «Это все равно, что из чумного барака показывать на барак выздоравливающих и кричать, что

именно там хуже всего».

Осенью 1990 года в Риме состоялась конференция писателей, которую созвал Максимов. Он собрал под одной крышей людей, если не находившихся по разные стороны баррикад, то, по крайней мере, отличавшихся друг от друга в убеждениях. В маленькой гостинице в центре Рима, возле Пантеона, разместились как соседи Василь Быков и Виктор Астафьев, Дмитрий Сергеевич Лихачев и Владимир Солоухин, Бакланов и Шемякин, Буковский и Залыгин, Максимов и лауреат Ленинской премии Айтматов. Впрочем, Айтматову, как члену горбачевского президентского совета, отвели роскошные апартаменты на Корсо. Одним словом, состав был пестр, и вряд ли большинство из участников этой встречи когда-либо сидели за одним столом. Да и что, казалось, могло соединить членов КПСС Виноградова и Бакланова с сидевшим за борьбу с коммунизмом Буковским или эмигрантом Шемякиным и главой антикоммунистического международного центра Максимовым? Тем не менее они вместе обедали, пили вкусное итальянское вино и даже гуляли по улицам. По тем временам это был случай исключительный, ибо раскол интеллигенции стал фактом. Это был вызов войне партий, которая, как правило, начинается с теоретических прений, а завершается кровью.

Максимов хотел эту кровь предотвратить. Но встреча в Риме, несмотря на теплоту атмосферы, подогреваемой тем, что нас окружало (римский серебряный воздух, синее – без

единого облачка – небо и сама вечность, глядящая в окна и взывающая к умиротворению), конечно, не могла ничего решить. Хотя там открыто ставился вопрос «обновление или гражданская война?». В обращении, принятом участниками конференции, говорилось о распаде империи и его последствиях, о противостоянии моральному нигилизму, о возрождении исторического и религиозного сознания. Как средство развязывания этих узлов был предложен диалог: «диалог внутри страны и со всем миром». Кроме уже названных имен, под этим документом стояли подписи Эрнста Неизвестного, Иосифа Бродского, Леонида Плюща, Натальи Горбаневской, Владимира Крупина, Витторио Страда. Оно было опубликовано в «Комсомольской правде» 23 октября 1990 года.

Но диалогу не суждено было состояться. Над Россией уже маячила тень кровавых разборок. Позже Максимов будет клясть себя за то, что поверил новой власти, что взялся ей как бы помогать. На самом деле, он верил не ей, а тому, что разрушающийся корабль можно подвести к пристани. Дать ему отстояться, а потом мирно собрать отваливающиеся части. Он не жалел для этого ни времени, ни себя. Он забросил писательство и переиздавал лишь старые вещи. Новые недописанными оставались в столе. Телевидение, радио, газета – вот куда переселился Максимов, и не тщеславие толкало его туда, а одна печаль – вместе со всеми найти выход. Менее всего он был доверчив. Ни Горбачев, ни его преемники не

могли надуть Максимова (он знал их биографии, их подноготную, их обман).

Впрочем, не только к другим был беспощаден Максимов, он и себя не щадил, признавая, что в разрушении государства есть и его вина. Он сказал об этом по телевидению, когда мы вместе с ним выступали в передаче «Книжный двор», и затем в нашей беседе в «Литературной газете». Года за два до этого там же было напечатано интервью с А. Рыбаковым. Вот строки из него: «Я люблю Париж, преклоняюсь перед Францией, перед ее великим свободолюбивым народом, но Максимов не парижанин... Пена есть во всякой литературе, и здесь, и там. И не надо ее принимать за чистую струю. «Made in» – всего лишь этикетка, даже если она приклеена в Париже. Понятно?» Прошло еще сколько-то времени и опять-таки в «ЛГ» актер А. Ширвиндт пожаловался: «Поощрять надо, а нас панибратски журят разные там, извините, Максимовы. Меня это просто бесит».

Печатая наш диалог, я сопоставил эти отзывы о Максимове с оценками других знаменитых людей: Сахарова, Солженицына, Бродского и Белля. По совпадению, все они оказались лауреатами Нобелевской премии. Так вот, их суждения о Максимове были намного почтительнее, чем суровые характеристики, которые дали ему лауреат сталинской премии Рыбаков и лауреат конкурса артистов эстрады Ширвиндт.

Откуда же эта суровость? Оттого, что Максимов, сделавший втрое больше для русской общественной жизни, чем все

его хулители, вместе взятые, не принял результата дела рук своих, – то есть тот режим, который установился после третьей русской революции. Этот режим почему-то очень устраивал лису, которая подхватила выпавший изо рта вороны кусок сыра, но не мог устроить тех, кто, в отличие от лисы, хотел, чтоб сыр достался не одной лисе, а, мягко говоря, всем обитателям леса.

Последние годы Максимов еще более потяжелел, посуровел. Это чувствовалось даже в его взгляде – как будто налитом свинцом. Он, этот взгляд, был упорен, соперничать с ним в неподвижности, способности выдержать противостояние глаз было нелегко. Володя если уж смотрел, так смотрел – вникая не столько в речь собеседника, сколько в его образ, и по интонации, по жестам, по тем же глазам узнавая больше, чем из слов. От этой неподвижной пристальности он иногда смотрелся как памятник самому себе. Но так могло казаться только тем, кто не знал его близко.

* * *

У меня до сих пор хранится бумажный мешочек с лекарствами, присланный из Парижа. На нем нетвердым, почти дрожащим почерком Максимова написаны моя фамилия, адрес и телефон. Эти мешочки я получал регулярно. Тогда в Москве было туго с лекарствами, и Максимов рассылал их друзьям. Он или делал это сам, или посылал с ока-

зией. Перед тем как отправить посылочку, всегда звонил и спрашивал, что еще нужно. Его опека была ненавязчивой, ничего не требующей взамен и постоянной. Когда я приехал в 1989 году в Париж, я был сильно болен. Володя тут же повел меня к своему врачу и долго сидел в приемной, ожидая, пока тот разберется со мной. И так повторялось несколько раз. Платил за эти визиты, естественно, он. В своих бумагах я нашел рецепт, выданный доктором Леонидом Бальзановым, как означено на рецепте. Рецепт выписан на имя месье Владимира Максимова. Лекарства (а их целый список) были тут же выкуплены Таней и переданы мне с письменными разъяснениями, когда и как их принимать.

Однажды, когда Максимов приехал в Москву на какой-то конгресс (дело происходило в нынешнем Президент-отеле), я зашел к нему в номер и застал его за раздачей таких же пакетиков, какие посылались мне. Из большой сумки он извлекал один пакетик за другим, но на дне их еще оставалось много, и я подивился, как у него хватило сил доставить эту аптеку из Парижа в Москву.

Ездил он в Россию только на поезде – не знаю уж, боялся ли он самолета, но это был ритуал. Впрочем, почти все в облике Володи сделалось ритуальным: и всегдашняя тройка, и неяркие, консервативные цвета галстука и костюма, и непокрытая даже в холода голова, как у истинного жителя столицы Франции. Никаких сантиментов при встрече, никаких сантиментов при расставании. Он коротко совал тебе в

руку свою искалеченную ладонь, так же быстро ее отнимал. По лицу его трудно было угадать, рад он тебе или нет. Но это была лишь маска. Хотя, как я уже сказал, с годами Максимов мрачнел, становился раздражительнее, гневливее. Гнев вскипал в нем вдруг и срывался, как гроза, – все нестерпимее было ему видеть, что происходит в России.

Его кое-где уже переставали печатать. Редакторы разных изданий уже побаивались тех, кто определял теперь, кого казнить, а кого миловать. Я говорю о так называемом «общественном мнении», которое всегда презирал Максимов. Он этих судей, ставящих себя выше Бога, в упор не видел. Да и кто были судьи его? Те же самые члены КПСС, сдавшие не раньше августа 1991-го свои партбилеты. В уже цитированном мной диалоге из «Литгазеты» есть такой пассаж: «Парадокс времени: я – убежденный антикоммунист, которым по обе стороны границы еще недавно пугали людей, вынужден защищать так называемых путчистов от недавнего выпускника Академии общественных наук при ЦК КПСС (здесь Максимов имеет в виду А. Нуйкина. – *И.З.*), вдруг возомнившего себя большим борцом с коммунизмом, чем весь блок НАТО, вместе взятый. Мне могут возразить, что люди меняются. Отвечу: правильно, опасен человек, который закостенел в своих заблуждениях, но отчего эти сообразительные господа не меняются самостоятельно, а только вместе с очередным начальством?»

Резонный вопрос, который можно задать многим паханам

нашей демократии. Я называю их паханами, потому что они такие же главари воровских шаяк, только крадущие не золото и деньги, а не продающиеся за деньги идеи, которые принадлежали тому же Максимову, но только не им.

Что же касается присвоений материальных, то вот один скромный пример. Член КПСС Анатолий Приставкин, едва совершился переворот в Союзе писателей (прогнали коммунистов, пришли «демократы»), тут же переставил в списке литераторов, стоящих в очереди на автомобили, свою фамилию с одного из последних мест на первое, сбросив вниз занимавшего первое место Проханова. Логика этой рокировки была проста: раз ты красно-коричневый, тебе автомобиля не видать.

То, правда, были еще невинные игры. Аппетиты новых вождей нации распались потом. И они стали хапать все, что хапали их предшественники: кабинеты на Старой площади, черные «Волги», депутатские мандаты, путевки, премии, бесплатные билеты и т. д. А один писатель-демократ, хапнув двухэтажную квартиру в центре Москвы, в добавление к уже имеющейся, отвечал на вопрос о том, есть ли у него совесть: «Совесть? Вот она, совесть!» И крутил перед носом спрашивающих ключиком от новой квартиры.

Этого ли желал Максимов? Этого ли желали те, кто, как и он, рискуя всем, шли на медведя с рогатиной? Не могу представить Галича, сидящего на Старой площади. Не могу представить Некрасова, заявляющего в печати, что «Инком-

банк» – его лучший друг. Не могу представить Максимова, выносящего в кейсе из Кремля сто миллионов рублей – государственную премию.

Ему даже не вернули отобранную в 1974 году квартиру. Ту однокомнатную квартиру на Бескудниковском бульваре, откуда он и уехал на Запад. Когда перестроечный заместитель председателя Моссовета Станкевич предложил Максиму выкупить свою квартиру, тот ответил: «Я ворованное не покупаю».

Таков он был, прошедши колонии, тюрьмы и разные пересылки. Он из вора сделался интеллигентом, в то время как иные интеллигенты уже в наши дни стали ворами. Как было от всего этого не отчаяться, не впасть в гнев? Да я услышал отчаяние даже в словах Солженицына, когда мы разговаривали по телефону зимой 1995 года. Уж на что, кажется, человек-скала, но и тот дрогнул, и сознание бессилия я почувствовал в его голосе. Пример Солженицына, как и пример Максимова, наглядно свидетельствует, что исполнителям не нужны теоретики, а политической шпане – авторитеты. Что же касается народа, то народ, если он еще существует в России как образование людей, имеющих свое историческое предназначение, уже не верит никому – ни честным, ни бесчестным.

Последний раз я видел Максимова летом 1994 года, когда мы с женой были у него в гостях в Москве. Не имея собственного угла, он останавливался у тещи, где жила и Танина

сестра. Отсюда, от дома на Красноармейской, было два шага до газетного киоска. Утро Максимова начиналось с чтения газет. Первые годы перестройки он скупал их все, потом стал покупать лишь две – одну «демократическую», другую «опозиционную», так как все остальные лишь повторяли друг друга.

В тот день он угощал нас обедом, мы много шутили и смеялись. Сестра Тани, которая стряпала на кухне, шепнула моей жене, когда та вышла к ней, что уже давно не слышала смеха Максимова. Улыбка сразу преображала его лицо: оно из неприступного делалось открытым, добрым. Конечно, я помню и кривые полуулыбки Максимова, свистящий бич его иронии. Он бывал язвителен, может быть, по большей части язвителен, и, если можно так выразиться, сатира брала верх в его смехе над юмором. Зато, когда душа его, не чувствуя опасности, распускалась, мягчала, Володю хотелось погладить по голове, как ребенка.

Отрывки, которые он передавал или посылал мне для печатания, были кусками из его нового романа. Он писал их, уже мало веря в то, что литература может что-то изменить в жизни. Это был его долг и неутихшая в душе тяга к перу и бумаге. Сейчас архив Максимова находится в одном из германских университетов (там он сохранится надежнее) и пока не разобран, но известно, что роман, который он не окончил, был по времени отнесен в прошлое – в годы гражданской войны. Как и его книга о Колчаке, это была дань памяти

белому движению, белому казачеству.

По велению судьбы, вечным приютом Максимова стала могила белого офицера, летчика, полковника Евгения Владимировича Руднева, жившего с 1886 по 1945 год и похороненного на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа близ Парижа. На могиле стоит черный гранитный крест, вырубленный в Москве, и лежат живые цветы. «Ничего не забывается, – писал Максимов в «Прощании из ниоткуда», – ничего. Мы, словно листья одного дерева, даже опадая, сохраняем в себе его образ и подобие. Я твой, твой навсегда, мой Двор, мой Дом, мои Сокольники!.. До свидания, мати. Аминь».

О смерти Максимова я узнал в Финляндии, из газет. Как всякая смерть близкого человека, она стала неожиданно свалившимся горем. Тоской отозвались во мне и некрологи, которые я прочитал в те же дни. Все, писавшие о Максимова, отдавали ему дань уважения, но были и. оговорки: «Не все его многолетние друзья поддерживали его и одобряли его выступления» («Литературная газета»). «В последние годы не все его многолетние друзья были уверены в его правоте» («Русская мысль»). А журнал «Огонек», напечатавший портрет молодого Максимова, снабдил его комментарием: «На этой фотографии он еще совсем молодой, не патриарх и не борец с режимом (неважно, каким: коммунистическим, демократическим, буржуазным – в течение своей долгой жизни он боролся со всеми по очереди)... Но та народ-

ная слава, о которой он мечтал, так и не сбылась. Жаль».

Эта снисходительность и ирония (сегодня ирония стала проникать и в некрологи) поразили меня. Поразила интонация почти брезгливого превосходства. Так когда-то коммунистические доктора наук писали о классиках XIX века. Конечно, писали они, NN был большой писатель, но до нашего понимания вещей не возвысился, правильного мировоззрения не обрел. Они всегда знали, что правы только они, и хлопывали по плечу даже Толстого.

Наша свободная печать свободна только в поношении, но гремит своими цепями, когда речь заходит об идеале. Ибо ее идеал – развенчание и ничто больше. «Бес иронии», как говорил Блок, «ломает» ее так же, как ломал до этого страх перед властью.

Максимов был человеком максимы. И если спросить себя, почему он взял этот псевдоним (ведь настоящее имя его Лев Самсонов), то не Максим Горький, которому он вначале подражал, тому причиной, и не пулемет «максим», из которого «красные» косили в фильмах нашего детства «белых», и даже не кинотрилогия о Максиме, которой он засматривался мальчиком, а именно максима, святая максима. Я убежден, что внезапно настигшая его болезнь и смерть явились оттого, что он не мог снести поругания своей мечты – мечты видеть Россию распрямившейся. Он увидел ее еще более согнутой, закабаленной, с повязкой на глазах, безумно, как слепцы у Брейгеля, влекущейся из темноты в темноту.

Со смертью его как бы оборвалась сильно натянутая струна – замер звук романтического форте. Принято считать, что расцвет романтизма падает на конец XVIII – начало XIX века. Но то был романтизм искусства и философии. Практический же, или политический, романтизм изжил себя к концу XX столетия. Поясню свою мысль. То, что произошло в начале века в России (я имею в виду 17-й год), было действие кроваво-романтическое.

Противодействие ему возникло как романтизм бескровный. Но, видать, история, как хищник без мяса, не может прожить без жертв. Бескровный порыв поколения Максимова был на его глазах полит кровью.

И если другие смирились с этим и даже стали искать высокого оправдания расстрелам 93-го года, а после уселись в кабинетах вновь побеленного Белого дома, то Максимов не только проклял совершившую это власть, но и обратил укор на себя, считал и себя повинным в происшедшем.

И тогда кто-то явился и унес его бессмертную душу от нас.

Игорь Золотусский

I. После немоты

Размышления о гармонической демократии

Думаю, что для многих моих соотечественников «Письмо вождям» Александра Солженицына послужило толчком к размышлениям о будущем нашей страны, о ее общественном и политическом устройстве, о ее роли и судьбе среди других народов. Не будучи ни философом, ни политологом, я тем не менее не избежал общей тенденции сделать собственные выводы из проблемы, поставленной перед нами большим русским прозаиком и мыслителем.

В самом деле, занятые борьбой за Права Человека, критикой коммунистической системы как таковой, распространением идей и информации, многие из нас не отдают себе отчета (или откладывают это на неясное «потом») в том, какой же видится нам предстоящая Россия во всех конкретных областях своей жизни: в государственной, экономической и духовной? Чаще всего в ответ на этот вопрос мы отделяемся весьма расплывчатыми декларациями в духе западной демократии.

Но большинство из нас (я имею в виду прежде всего эми-

грацию) сумело убедиться, что демократия в ее традиционном понимании начинает медленно, но верно изживать самое себя. Лучший пример тому – итальянская ситуация, когда в результате крайней поляризации сил ни одна партия не в состоянии создать сколько-нибудь устойчивое правительство. В итоге в стране царит атмосфера холодной (иногда переходящей в горячую) гражданской войны, а экономика держится на иностранных займах.

В других странах Запада дело обстоит не многим лучше. Особенности сложившейся избирательной практики позволяют ловким и беспринципным демагогам с помощью промышленной и финансовой олигархии выплывать на самую поверхность общественного бытия и безраздельно контролировать все сферы его жизнедеятельности. Взять хотя бы, к примеру, США, где даже для кампании за выдвижение какой-нибудь кандидатуры в конгресс или сенат требуются весьма и весьма солидные средства, а на кампании президентские тратятся суммы буквально астрономические.

При таких условиях трудно ожидать, чтобы в руководство страной попадали если и не лучшие из лучших, то хотя бы достойные из достойных. В результате у кормила правления западным миром (за редчайшими исключениями) оказались сегодня в лучшем случае партийные посредственности, а в худшем – политические оппортунисты или беспринципные торгаши, не только охотно идущие на сговор с тоталитарным молохом, но и зачастую готовые в любую минуту присоеди-

нить свои страны к «великому восточному соседу» в качестве какой-нибудь «надцатой» республики.

Возьмем ли мы на себя ответственность (даже мысленно!) обречь будущую Россию на ту же судьбу и, после стольких лет безвинной крови, беспримерных страданий, удушающей лжи вновь оказаться в атмосфере духовного распада, у порога пустующих храмов, перед новым и уже необратимым вырождением?

Но есть ли выход из тупиковой дилеммы: западная демократия или восточный тоталитаризм?

Я попробую пойти на ощупь, почти вслепую...

Со времен отмены крепостного права крестьянская община становится фундаментальной единицей нашего бытия. На ней, этой общине, словно опрокинутая острием вниз пирамида, держалась послереформенная Россия вместе с ее институтами, экономикой, традициями и верованиями. Именно в ней – в этой общине – исподволь, из года в год, и выработывался прообраз подлинной русской демократии. Но, к сожалению, государственная структура, законодательным порядком изменив положение народа, сама по себе оказалась не в состоянии соответствовать этим изменениям и вошла в вопиющее противоречие с собственной быстротекущей действительностью, чему в немалой степени способствовала разрушительная деятельность так называемой прогрессивно мыслящей части российского общества, вызвавшая естественную реакцию самозащиты со стороны прави-

тельственного аппарата.

В последовавшем затем бессмысленном и почти беспре-
рывном противоборстве этих двух сил, словно на поле бит-
вы, и была растоптана почва, на которой зарождались тогда
первые побеги будущей демократической России. Чем это
кончилось, общеизвестно.

Но что, если, расчистив от ядовитых зарослей идеологии
эту почвенную основу, вновь вернуться – на современном,
разумеется, уровне – к тем исконно демократическим усто-
ям нашей жизни, какие, не успев окрепнуть, были задавлены
кровавыми глыбами последующих лихолетий?

Попробуем пофантазировать.

Общественная структура

1. Взяв за основу уже существовавшее административ-
но-территориальное деление страны, повсеместно образо-
вать городские и сельские общины.

2. Каждая такая община является самоуправляемой и
пользуется максимально возможной автономией в решении
своих внутренних проблем.

3. Каждая такая община на основе всеобщего, тайного
и ничем не ограниченного избирательного права выдвигает
своего кандидата в коллегию выборщиков района, в состав
которого она – эта община – входит.

4. Районный совет выборщиков, также путем тайного го-

лосования, отбирает кандидатов в коллегию областных представителей, а те, в свою очередь, определяют членов Нижней палаты Учредительного собрания, являющегося высшим органом власти страны, выделяющим из своего состава Президента, Правительство и Верховный суд Российской Федеративной Земли (Р.Ф.З.).

Первое заседание Учредительного собрания ответственно решает, какую форму правления оно считает наилучшей в сложившейся ситуации (республика, авторитарная федерация или конституционная монархия).

(Подобная система позволяет, на мой взгляд, довести нарушения избирательного права до минимума и в то же время максимально приближает голосующего к своему избраннику, сокращая ставший уже традиционным в западной демократии разрыв между народом и властью.)

Верхняя палата

1. Верхнюю палату Учредительного собрания составляют представители национальностей, входящих или объявивших добровольное желание войти в состав нового государства с равным количеством депутатов от каждого народа вне зависимости от его численности.

2. Верхняя палата принимает участие в голосовании по основополагающим государственным актам в составе Учредительного собрания в целом и обладает правом «вето» на

любой законопроект по национальным вопросам.

3. Выборы в Верхнюю палату – исключительная привилегия каждого входящего в состав Р.Ф.З. народа или национальности в отдельности.

4. Президент, Правительство и Верховный суд подотчетны только Учредительному собранию как суверенному представителю всего народа.

5. Вопросы, от которых зависит судьба государственной системы или общественного устройства, а также проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности общества и не терпящие отлагательства, решаются в ходе всенародных референдумов, на основе всеобщего, тайного и ничем не ограниченного голосования.

Национальный вопрос

1. Россия – страна, в строительстве и становлении которой приняли самое активное участие многие народы и народности. Исходя из этого, будущее русское государство наделяет каждого своего гражданина, вне зависимости от политической, национальной или религиозной принадлежности, равными правами и обязанностями.

2. Всякий народ, входящий или пожелавший войти в состав Российской Федеративной Земли, имеет неотъемлемое право на свое самобытное национальное культурное и религиозное развитие и сам определяет, какой язык является для

него главенствующим.

3. Всякая дискриминация гражданина Р.Ф.З. по национальному, политическому или религиозному признаку является тягчайшим преступлением перед обществом.

Право

1. Будущая конституция Российской Федеративной Земли в своих принципиальных положениях должна исходить из Декларации Прав Человека, принятой Организацией Объединенных Наций.

2. Взяв за основу уже имеющееся законодательство и очистив его от внеюридических толкований и идеологических оговорок, вернуть ему – этому законодательству – подлинное правовое содержание.

3. Из существующего законодательства необходимо исключить лишь понятие «политическое преступление», ибо на территории Российской Федеративной Земли каждый гражданин имеет неотъемлемое право на любые взгляды, верования и доктрины, кроме тех, что исповедуют насилие или террор во всех их формах, а также расовое, классовое или религиозное превосходство, каковые должны подлежать уголовному преследованию.

4. Учитывая огромные разрушительные возможности средств массовой информации, должны быть также, по всей видимости, разработаны суровые меры против диффамации.

ции, дабы оградить общество от целенаправленного «промывания мозгов», ибо полная свобода печати подразумевает также и полную ответственность перед обществом и каждой личностью в отдельности.

Экономика

1. Экономическая система будущей федерации также, на мой взгляд, может отталкиваться от интересов и потребностей общины, группы общин, объединения общин и так, по восходящей, определить экономическую структуру государства в целом.

2. В стране была бы желательна свободная рыночная система, при строжайшем запрете крупных картелей, трестов и монополий и всеобъемлющем контроле со стороны общества.

3. Не менее желательным было бы максимальное ограничение иностранных инвестиций и участия иностранных подданных в экономике страны, чтобы оградить ее от поглощения международными капиталовложениями.

(Участие иностранных финансов в отечественной экономике ни в коем случае не может решаться исполнительными органами без санкции законодательной власти в каждом отдельном случае.)

Церковь

1. Россия – страна традиционно православная. Роль Церкви у нас во все времена далеко выходила за пределы церковной ограды, куда ее загнала безбожная коммунистическая власть. В последние годы Церковь вновь медленно, но уверенно берет на себя пастырские обязанности по руководству и расширению возникающего сегодня в стране религиозного Возрождения, поэтому и значение ее для будущего России трудно переоценить.

2. Отделенная от Государства, Православная Церковь, тем не менее, должна принять самое активное участие не только в просвещении и воспитании общества, но и в его политической жизни наравне со всеми другими институтами Государства.

3. Богословие становится, хотя и факультативным, но равным с другими предметами в школьных и университетских программах.

4. То же самое относится и ко всем другим религиям, исповедуемым на территории Российской Федеративной Земли.

Права политических меньшинств

1. Такие меньшинства образуются в каждом обществе, каким бы совершенным оно ни было. Это обусловлено целым рядом социальных, духовных и психобиологических причин, заложенных в глубинах самой человеческой природы.

2. Общество, хочет оно того или не хочет, должно считаться с наличием подобного рода групп и отдельных личностей и, по мере возможности, обеспечить этим группам и лицам легальные возможности для гражданского и человеческого самоутверждения.

Прежде всего каждой такой группе и личности необходимо обеспечить максимальную гласность через обязательное создание специальных программ и отделов в средствах массовой информации и наделения этих групп правом внепарламентского представительства в Учредительном собрании, с привилегией совещательного голоса при обсуждении любых законодательных актов.

Все эти меры, на мой взгляд, если и не снимут проблемы в целом, то, во всяком случае, уменьшат опасность возникновения в обществе экстремистских тенденций.

Социальное обеспечение

1. Социальную заботу о каждой отдельной личности обязана взять на себя община, к которой она – эта личность – приписана в период старости, безработицы или болезни. Размер такого обеспечения целиком зависит не только от вклада личности в общественные фонды и ее действительных потребностей, но и от реальных возможностей данной общины.

2. Бюджет больничных и пенсионных фондов складывается из поступлений от местных налогов (прямых и косвенных), благотворительных пожертвований и добровольных самообложений и контролируется самоуправлением общины, без всякого вмешательства со стороны государства.

(Эта система, на мой взгляд, почти полностью исключает злоупотребления и обезличку, свойственную централизованному страхованию, и предупреждает зарождение новой социальной прослойки – паразитов, живущих за общественный счет.)

3. В централизованном порядке финансируется лишь сеть воспитательных и просветительных учреждений, что не исключает активного существования частных учреждений того же профиля на средства местных самоуправлений и отдельных лиц.

Культура

1. В этой области была бы желательна максимальная децентрализация, с тем чтобы исключить возможность контроля, цензуры и любого другого вида вмешательства со стороны государства.

2. Печать, искусство и литература функционируют в обществе на основе полной индивидуальной свободы или творческих групп, беспрепятственно объединенных по политическому, эстетическому или национальному признаку.

3. Безусловному запрету подлежит лишь пропаганда (в любой форме) расовой, классовой, религиозной и национальной розни, а также порнография. Контроль за выполнением этого условия является исключительной прерогативой местных общин и самоуправлений. Государство может играть здесь только арбитражную роль.

Партии и профсоюзы

1. Последние функционируют только в пределах общины, ни в коем случае не образуя централизованной структуры, дабы избежать их превращения в государство в государстве, способное парализовать жизнедеятельность общества в целом.

2. Высшей инстанцией в разрешении политических и трудовых конфликтов являются местные арбитражные суды, решение которых является окончательным и обжалованию не подлежит.

Государство

Государство, контролируемое Учредительным собранием, сохраняет за собой монополию в области обороны, иностранных дел, общего бюджета и природных ресурсов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.